

КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ

XX 70
7

ЖУРНАЛ

802-11
90

1925

КНИГА
ТРЕТЬЯ
АПРЕЛЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

О группе пролетарских писателей „Перевал“.

А. Лешнев.

Это очень молодая организация: и по времени возникновения, и по своему возрастному составу. Если, например, основное ядро «Кузницы» образуют писатели, начавшие писать и печататься еще до революции, — Ляшко, Обрадович, Якубовский, Низовой, Новиков-Прибой, — то в «Перевале» мы видим исключительно молодежь, выдвинутую революцией и успевшую проявить себя, главным образом, во второй ее период, после 1920 года. Возраст — 18 — 25 лет является здесь преобладающим.

От такой молодой группы нельзя, конечно, требовать, чтобы она, в доказательство своего права на существование, предъявила целый ряд устоявшихся, законченных писателей. Этого мы, кстати сказать, не встретили не только у «Перевала», но и в более старых объединениях. Единственное, чего здесь можно (и должно) желать, это — талантливости и серьезного отношения к писательскому делу. Оба эти условия у «Перевала» налицо.

У «Перевала» мало законченных, выкристаллизовавшихся писателей, но много талантливой молодежи. Она еще находится в процессе брожения, роста, формирования, но это не значит, что она бесформенна. Отдельные художественные индивидуальности уже сейчас проявляются своеобразными чертами, иногда очень яркими. Артем Веселый и Ветров, Светлов и Ковынев, Акульшин и Наседкин — не все эти имена пользуются широкой известностью, но для того, кто внимательно следит за молодой литературой, все они — имена собственные, за каждым из них — определенная творческая личность, своеобразное художественное лицо. Эти имена собственные иногда хотят сделать нарицательными — и притом в дурном смысле (стихи Безыменского о Михаиле Голодном и Светлове), как пример рабочих поэтов, оторвавшихся от класса, из-за стремления стать спецами в писательском деле. Упрек необоснованный: верно, конечно, что перевальцы стараются овладеть «секретами ремесла», формой, мастерством. Они проходят стаж ученичества, понимая это выражение в самом широком смысле, и проходят, в общем, хорошо. Но ведь ясно, как день, что овладение элементами художественной грамотности, элементами культуры — первое и необходимейшее предварительное условие для того, чтобы писатель был действительно «организатором сознания», а не халтурщиком. Какова бы ни была врожденная даровитость, писатель не мо-

жет руководствоваться только тем, что «бог на душу положит», пробавляться одним вдохновением. Может быть, потому перевальская молодежь и пишет ярче, колоритнее, интереснее, чем, например, молодежь из Маппа, что она не только говорит об усвоении художественной культуры, но и усваивает ее. Правда, при этом она делает ошибки и усваивает иногда то, что не надо, но эти ошибки свойственны не одним перевальцам. Они исправимы. Известно старое правило, что нельзя выучиться ходить, не падая.

Как и в большинстве современных писательских объединений (особенно молодых), в «Перевале» поэты сильно преобладают над прозаиками. Это довольно невыгодно отражается на альманахах группы: на каждый сборник приходится до 30 стихотворений. Такое преобладание стихов перешло к нам по наследству от первых лет революции, когда художественной прозы почти не существовало и гипертрофия стихотворной формы достигала максимальных пределов. Но то, что было естественно и неизбежно в годы кризиса, когда старая литература умерла, а новая только нарождалась, становится анахронизмом в наши дни органического роста литературы. Параллельно этому росту и росту требовательности читателя и углубления его запросов, стихи начинают все больше и больше отходить на задний план. Их читают все менее охотно, — и мы стоим теперь перед своеобразным кризисом сбыта стихов. Стихи не находят читателя. Книжки, написанные короткими строками неравной длины остаются лежать на складах. Отчасти это, отчасти и другие причины заставляют писателя переходить от стихов к прозе. То же самое, вероятно, произойдет и с рядом перевальских лириков (отчасти, кажется, уже происходит).

Качественный перевес поэтов в «Перевале» не означает, однако, что проза его в забросе. Среди прозаиков находится самая крупная фигура «Перевала» — Артем Веселый. Это — один из наиболее талантливых и многообещающих пролетарских писателей вообще и, пожалуй, самый сильный и оригинальный стилист среди них. Его напряженный, стремительный стиль, в котором динамичность своеобразно соединена со сгущенно-колоритной бытовой, «характерной» речью (род динамизированного сказа), его короткая, отрывистая, задыхающаяся фраза, где глаголы сплошь и рядом опущены, бешено-быстрый темп рассказа, увлекательный читателя, как горная река, и, как горная река, образующий круговороты, пороги, страстная напряженность действия, стремление эту страстность и динамику подчеркнуть всеми имеющимися в распоряжении писателя средствами — вплоть до типографских ухищрений, до игры шрифтов, до опускания знаков препинания, резкие и сильные страсти, цельные примитивные матуры — во всем этом проявляется молодой романтизм, избыточный, полнокровный и героический, сближающий Артема Веселого с молодым Горьким. Есть нечто горьковское в его пристрастии к партизанской вольнице, в его Феньках и Илько. Это дало даже кой-кому повод упрекать Артема в идеализации махновщины. Обвинение незаслуженное: вряд ли кто-нибудь изобразил так ярко махновщину именно с ее отрицательной стороны, как это сделал Артем Веселый, выведя своих незабываемых матросов-дружков, Ваньку-Граммфона и Мишку-Крокодила, героев его

лучшей вещи «Реки огненные». «Отличительные ребята. Нахрапистые, сноповые, до всякого дела цепкие да дружные. Насчет разных там эксов, шамовки али какой ни на есть спекуляции Мишка с Ванькой первые хватят. С руками оторвут — свое ищдут. Ну, а накатит веселая минутка, и чужое для смеху прихватят. Чорт с ними не связывайся: распотрошат и шкуру на базар. Дашь-берешь денежки в клеш и каргала». Вот как эти сахи описывают свое участие в гражданской войне: «Жизня дороже дорогова. Пьянку мы пили, как лошади. Денег бугры. Залетишь в хутор — разливное море: стрель, крик, вуй, кровь, драка. Хаты в огне. Хутор в огне. Сердце в огне. Цапай хохлушку любую, на выбор, и всю ночь ей восхищайся... Церковь увидишь и счас сширьдом по башке шелк... Вперед жизни бежали... Так бежали: чоботы с ног сваливались...

Ой, яблочко
Да з листочкам,
Иде Махво
Тай з синочкам...

«Реки огненные» служат лучшим образчиком того, что можно назвать первой манерой Артема Веселого. Динамика стиля с его коротким дыханием, с его отрывистой фразой здесь еще не доведена до преувеличений, как в другом рассказе «Дикое сердце», где чрезмерное убыстрение, опускание сказуемых и т. д. порой затрудняют понимание написанного. Нет также в «Реках огненных» проникнутых здоровым грубоватым юмором и большой трезвостью, романтической дымки, явно ощущаемой в «Диком сердце». В «Диком сердце» и «Вольнице» первая манера Артема Веселого доведена до максимального развития. После «Вольницы» наступает резкий перелом. Артем Веселый круто поворачивает на новый путь. Он переходит к большим полотнам, к более спокойному, глубокому и шире-охватывающему действительность эпосу. Этот переход намечен в его романе, изображающем дни революции в провинциальном городе — «Страна родная», еще нигде не напечатанном, но отрывки из которого автор читал на собраниях «Перевала». Трудно судить, конечно, по этим отрывкам о вещи в целом. Пока с уверенностью можно сказать только одно: Артем Веселый не остановился на достигнутой точке мастерства, но продолжает непрерывно развиваться дальше. От крутости и внезапности поворота происходят недостатки новой вещи: новая стилистическая его манера не достигла еще яркости прежней, она несколько тускловата, но по типу своей организации выше, синтетичнее первой. Обширный материал еще не совсем подчинился писателю, он еще им владеет. Вещь (пишущему эти строки известны 7 глав из 12) как будто лишена композиционного единства. В романе явно пробивается сатирическая струя. Некоторые главы очень удачны (рапорт инструктора, спектакль).

Артем Веселый — самый талантливый прозаик в «Перевале». Ветров, автор повести «Кедровый дух», помещенной в первом сборнике группы, не имея стилистической самобытности Артема, обладает все же рядом хороших данных. Это — умный, здоровый писатель, крестьянско-толку, рассказы-

вающий о деревне не торопясь, медленно, вдумчиво, задушевно. У него склонность к лиризму, он часто вставляет в ткань произведения лирические описания природы, которые должны создавать «настроение» (здесь слабая сторона писателя). Сибирская деревня во время революции, ее своеобразные нравы и обычаи, отношение к Советской власти, кулацкие восстания, словом, ее «война и мир» показаны автором отчетливо, без излишних нажимов и подчеркиваний и связаны в одно целое узлом истории любви техника Иванова и крестьянки Вари (город и деревня?), рассказанной с мягким, но и чрезмерным, многословным лиризмом.

Костерин, выпустивший книгу «На изломе дней», находится еще в процессе нащупывания пути к самовыявлению. Достижения даются ему трудно, он растет медленно и каждую позицию должен брать с бою. Едва ли не большая часть его вещей посвящена Кавказу. Некоторые из них производят довольно сильное впечатление, — например, «Перевал», — но есть рассказы, как «Ассир-абрек», отличающиеся крайней безвкусицей («Его мятежная душа искала свободы, тешилась веселой абрековской игрой среди станиц... а Нанта? Нанта не любила джигиты» и т. д.). Путевые его очерки «На Чечне», помещенные во второй книге альманаха «Перевал», написаны уже гораздо проще и — если можно так выразиться — с большим литературным достоинством, интересны по содержанию.

Среди совсем молодых прозаиков «Перевала» надо отметить А. Платонова. Он находится под сильным влиянием Арт. Веселого — не только стилистическим. Он умеет писать занимательно, интересно — достоинство далеко не маловажное. Неизвестно, конечно, почему его «Броневые отвалы» названы именно так, — с равным успехом можно было бы подобрать еще дюжину звучных и не имеющих касательства к рассказу заглавий, — но читаются эти «Отвалы» легко — и вещь не пустая.

Если мы перейдем от отдельных прозаиков «Перевала» к его прозе в целом, и захотим характеризовать ее тенденции, ее направление, ее особенности, то мы должны будем определить эту прозу, как реалистическую бытовую. При чем особенно большое место уделяется изображению деревни (Ветров, Сергеева, Федоров, Ряховский, Путешественник), деревни новой, возбуждаемой и пересоздаваемой революцией. Больших художественных обобщений мы в этой прозе — за исключением Артема Веселого — не увидим, но не увидим и идеологических уклонов, по крайней мере, сколькихнибудь крупных. Это — не очень глубокая, но здоровая, ровно растущая литература. Ей, пожалуй, не хватает темперамента, того темперамента, которого так много у Артема.

Иную картину представляет собой перевальская лирика. Она темпераментней и ярче. Большинство перевальских талантов ушло именно в лирику. Там — Светлов, Ясный, Голодный, Ковынев, Василенко. У лириков видна более тщательная работа над формой, они глубже прозаиков. Но именно они навлекли на «Перевал» больше всего упреков в идеологической невыдержанности, в мелко-буржуазности и т. д.

В чем же здесь дело?

Если попытаться одним словом формулировать то первое и основное впечатление, которое производят стихи перевальских поэтов — в отличие от многих и многих других, — то этим словом будет искренность. До конца и безусловная. Перевальцы не декларируют, не показывают только о парадные комнаты своего я, не закладывают вывеской. Мир эмоций всегда отстает от сознания. Рождение нового человека происходит не сразу и трудно. У поэта есть два пути для выявления этого нового человека. Он может подойти к своей задаче поверхностно, показать поверхность сознания, то, что я назвал парадными комнатами. Это — самый легкий путь, с минимальной опасностью уклонов — и на него чаще всего ступают. Но есть и другой путь, несравненно более трудный, зато и более ценный: показать, как новое, пролетарское мироощущение, новый строй чувств и навыков борется внутри человека с ветхим Адамом традиционных привычек, настроений, вкусов, с налипшими на пролетариат наслоениями прошлых веков, с отпечатками, оставленными в его душе господствовавшими классами (ведь и сейчас еще сохраняют свое значение слова Маркса, обращенные к пролетариату: «Вы должны 15, 20, 50 лет вести междоусобные и международные войны — не только для того, чтобы изменить внешние условия, но и для того, чтобы изменить самих себя»), как шаг за шагом этот новый человек пробивает себе дорогу, соскребает наслоения прошлого, стирает его следы. Этим путем идет — по крайней мере, старается идти — «Перевал». Но, конечно, на нем на этом пути, опасность уклонов гораздо сильнее. Здесь легко сорваться — и, надо признать, — перевальцы иногда срываются. Искренность легко превращается и желание. — а потом и привычку — выворачивать себя наизнанку. Эта болезнь самовыворачивания есть кое у кого из перевальцев (Светлов, Ковынев) и с ней, конечно, надо бороться — в первую очередь тем, которые ею больны — бороться против нездоровых настроений, против прорывающегося порой пессимизма. Следует, словом, взять себя в руки. Но тем, которые так охотно хихикают по поводу «грехопадений» перевальцев, следовало бы быть осторожнее. Ведь они часто только потому имеют возможность выступать в роли незапятнанных судей, что сами боятся быть откровенными, искренними до конца. И если бы они писали с такой же искренностью, как перевальцы, то кто знает, какие песни мы бы от них услышали. Конечно, вовсе не всякое настроение надо обязательно перелить в стихи. Некоторые следовало бы лучше подавить в себе: и в интересах автора, и в интересах читателей. Но это не значит, что нормально такое положение, при котором поэт и его внутренний мир — сами по себе, а стихи — сами по себе, и связь между ними едва ощущается. Вот если бы эти поэты ступили на тот трудный путь, по которому идет «Перевал», и на нем бы не оступились — они бы имели право на превосходство. И мы все-таки считаем, что, несмотря на срывы и уклоны, допущенные перевальцами, которые следует признать и с которыми им надо бороться, дорога, выбранная ими, — правильная. Это — тот путь, который отличает поэта от ритора и декламатора.

Одной из самых характерных фигур «Перевала» является Светлов. В нем скомбинированы типичные для «Перевала» достоинства и недостатки. Это —

поэт умный, со склонностью к тому, что называют лирикой мысли. Он обладает ценным свойством обобщения своих чувств и переживаний; в них он выделяет то, что делает их характерными для целой группы и даже эпохи. С одной стороны он еще связан с прошлым, с еврейским бытом и традициями, с поэзией синагогальных сумерок, со старым ребе, который

Глупей, чем ребенок,
И умней, чем лорд Керзон.

С другой стороны он начинает отходить от прошлого, преодолевать его, синагогальная романтика блекнет, рассеивается — и поэт уже готов, «если надобно, седую синагогу подпалить со всех сторон, и старый ребе умирает под упавшей стеной синагоги». Светлов явственно чувствует власть прошлого — и старается от нее освободиться. Он четко сознает борьбу старого с новым в своей душе, он знает, что отстал от деда и еще не пристал к внуку, но он знает также, что он есть тот мост, который ведет от деда к внуку. Он чувствует свой «высокий рост», и пусть теплушка, в которой он едет, разбитая, это все же теплушка в поезде истории, который мчится вперед:

Но становится теплушка доброй,
Но в груди моей радость иная,
Если дела звериный образ,
Если внука железный образ
Мне буденновка заслоняет...

Понимаю, в чем мое дело,
Узнаю, куда я еду:
Пролегло мое длинное тело
Перешейком меж внуком и делом.

Но поэт — сын того народа, в котором национальная обособленность проявилась особенно сильно; история обвязала его руки добавочными крепкими путами. Даже тогда, когда он наедине с любимой «девушкой чуждого племени», его глазам представляются картины унижительного прошлого и снова берут больную чувствительность человека утнетенной нации:

И мне кажется земля моложе,
Сверху небо, внизу зима
И на снежном бездорожье
Одинокая корчма.

Дед мой мечется от стойки к пану
И от пана к стойке назад.
Пан на влажное дно стакана
Опустил свирепеющий взгляд.

И я вижу в любимом взгляде
Женских глаз голубей степей,
Как встает их разбойный прадед.
И веселой забавы ради
Рвет и треплет дедовский пейс.

Но эти картины не пробуждают в нем гнева, злобы, недружелюбия:

Оттого ли, что, должно быть,
Кровь меняется явждый век,
Оттого ли, что жизнь моя отдана
Дням беспамятства и борьбы,
Мне, не имевшему родины,
Прошлое легче забыть.

Эти слова показывают нам, какая огромная разница между эмансипирующимся от национальной ограниченности буржуазным поэтом, вроде Фруга, и Светловым. Светлова к забвению прошлого, к интернационализму привела революция, «дни беспамятства и борьбы», рабочая солидарность, заводы, которым посвящено им столько влюбленных, хотя и не всегда удачных, строк.

В последнее время у Светлова все явственней пробиваются ноты грусти, уныния. Есть они в его поэме «Ночные встречи», первая часть которой в художественном отношении очень не плоха (вторая, сатирическая, написанная под Гейне, удалась гораздо меньше), есть и в стихах, посвященных Н. Кузнецову. Ноты уныния, ноты сожаления о минувшем времени, о периоде военного коммунизма, когда все было проще, героичней и понятней.

Вряд ли можно короче и ярче определить Светлова, чем сделал он это сам в одном из своих произведений:

Я в гражданской войне нередко
Был веселым и лихим бойцом,
Но осталось у меня от предков
Узкое и скорбное лицо.

Светлов — со стороны формы — развивался под преимущественным влиянием Тихонова (да еще Гейне). Под тем же тихоновским влиянием рос, как поэт, и Ясный.

Ясный бодрее, резче и проще Светлова. У него больше задору и, пожалуй, молодости. Он пишет более неровно, чем Светлов, и у него нет той ясности мысли, которая присуща Светлову, и потому его «умные» вещи выходят несколько темными. Этим страдает и одно из его лучших стихотворений, помещенное в «Красной Нови» и написанное сильным и энергичным стихом, показывающим, как вырос Ясный, как поэт:

Проверенная, что часы
И, как часы, заведенная в вечность,
Гудит от звезд до утренней росы,
Гудит земля тяжелым шагом человечьям.
И отданы: ночам звезда
И крылья дням, чтоб улетали птицами.
А нам даны: жестокая страда
И радость, что ночами только снится.
И верные даны глаза,
Чтоб не глядеть глазам назад.
И черная цветет трава
На буйных крепких головах.

И руки наши—соль земли
Травую рыжей поросли.
И ноги. Пара крепких ног:
Им позавидовал бы бог.
Даны еще крутые збы,
Чтоб лбами стевы прошибить.

Талантливый и совсем еще молодой Ковынев стоит в самом начале своего поэтического пути. У него густой, образный стих и, несмотря на крайнюю молодость, ясно уже обозначенная индивидуальность. Он — под сильным — и формальным и идеологическим — влиянием Есенина (вообще. Есенин на-ряду с Тихоновым, является тем поэтом, который оказал особенно сильное влияние на «Перевал»), но вносит в есенинское много своего. Его революционность гораздо ярче и определеннее; во имя грядущего готов он

Горы несть
И сотни лет стоять на карауле.

Но так же, как и Есенин, он — в грусти о деревне, он не может сжиться с городом, его тянет к лопухам, к вишневым закатам, к еловому шуму:

Я помню день, заброшенный в когда-то,
Я помню край, заросший в долухи,
Где в тихий звон вишневого заката
Пролетел я первые стихи.
Я помню лес и старую берлогу,
Что одиноко маятся и ждет,
Еловый шум, березку у порога
И на опушке волчий хоровод.
Я с детства самого на сердце прячу
Об этом домике в леску
Мою привязанность собачью,
Мою, как лес мохнатую, тоску.

Но его грусть разче, определеннее, мрачнее, чем у Есенина. Волчий хоровод — не случайный образ. Ковыневу явственно звучит голос «четвероногих прадедов», который зовет его от городов, от людей — к одиночеству и лесу:

Волчий вой мне все-таки милей
Моей родной членораздельной речи

И он признается:

Я чувствую теперь,
Что я и впрямь диковинный калека.
В моей груди ворочается зверь,
Четвероногий прадед человека.

«Волчий вой» и «четвероногий прадед» знаменуют собой апогей этого столь несовременного и несвоевременного романтического протеста против города, культуры, общества, протеста, запоздавшего, по крайней мере, лет на сто. Из него давно уже выветрилось всякое положительное содержание, и очень жаль, что поэт с такими прекрасными данными, как Ковынев, мог, хотя бы и на короткое время, стать жертвой таких крайних — и вредных — своей

антиобщественности настроений. Нам кажется, впрочем, что поэт уже выходит из этой полосы. Само ж по себе характерное для Ковынева тяготение к природе, к простоте и естественности, если его освободить от крайностей, не представляет собой ничего плохого. Оно толкает иногда поэта к созданию превосходных вещей, как, например, «Заячья любовь», конец которой, к сожалению, несколько испорчен обычным промахом Ковынева: ему мало картины, надо к ней написать объяснительный текст, присочинить, так сказать, мораль басни.

Мы выбрали Светлова, Ясного, Ковынева, как 3-х наиболее типичных в своих достоинствах и недостатках фигуры перевальских лириков. Конечно, ими далеко не исчерпывается вся лирика «Перевала». Нам пришлось оставить в стороне ряд несомненно интересных авторов, как Михаил Голодный, наиболее городской и пролетарский из перевальских поэтов, — Василий Наседкин; с его уверенным, спокойным, торжественным и несколько холодным стихом, Кауричев. Скуратов, Зарудин, Деметьев, 18-летний Джек Алтаузен с его красочными сибирскими вещами и др. Подробное рассмотрение всех этих расширило бы слишком намеченные рамки статьи.

В заключение скажем несколько слов о самом ярком представителе крестьянского крыла в «Перевале», о Родионе Акулышине.

Как лирик Акулышин стоит невысоко. Его сила — в тех небольших эпических вещах, которые посвящены изображению крестьянской жизни. Написаны они стихами, большей частью без рифмы — порой классическим элегическим размером, как у Радимова (чередование гекзаметра с пентаметром), порой другим каким-нибудь протяжным размером (анapest, 5-стопный хорей). Это — всегда почти жанровые картинки, иногда с сильным выступанием анекдотического элемента, написанные с большим вкусом и чувством меры. Для Акулышина не существует неприемлимых, рискованных, непоэтических тем и положений: он рассказывает и о том, как крестьянка рождает, и как бабы ищут друг у друга в голове — и все это у него выходит просто, ненарочито, естественно. И старая и новая деревня, и старики, сватающиеся к адове Апросинье, кидающие жребий, кому она достанется, — а ей все равно, тот хорош, кто «скорей легистрацию справит», и синеглазый подпасок Иван, который на «дудках выводит» то, что бабы зовут «терданал», и незадачливый жених «кочиссар лягушиный» — все у него показано умно, с несомненным юмором и темпераментом. Он темпераментнее Радимова, влияние которого (да еще, быть может, более отдаленное Гете — «Герман и Доротея») сильно чувствуется.